

"ТОЛЬКО БЛЕСК И ТОЛЬКО СИЯНИЕ..."

Илья Ильф и Евгений Петров достались читателям в виде соавторов, вернее — в виде *создателя* романов "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Представляется неразделимое целое — символ блестящего остроумия и убийственной сатиры. Представляется даже некая двойная звезда ИЛЬФ-ПЕТРОВ, сияющая на литературном небосводе.

В "Двойной автобиографии", написанной "в плане юмора" в июне 1929 года, писатели объясняют, каким образом соединились две "разрозненные части", и как постепенно выработался "единый литературный стиль и единый литературный вкус". Ильф и Петров вовсе не кокетничали, утверждая: "Очень трудно писать вдвоем. Надо думать, Гонкурам было легче. Все-таки они были братья. А мы даже не родственники. И даже не однолетки. И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой еврей (загадочная еврейская душа)".

"Сочинять вдвоем было не вдвое легче, как это могло бы показаться в результате простого арифметического сложения, а в десять раз труднее, — объяснял Петров. — Это было не простое сложение сил, а непрерывная борьба двух сил, борьба изнурительная и в то же время плодотворная".

И все-таки Ильф и Петров были созданы друг для друга. Как говорили в старое время: "Браки свершаются на небесах".

Они проработали вместе десять лет. "В литературе это целая жизнь", — писал младший соавтор. "В четыре руки" они создали два романа, книгу очерков "Одноэтажная Америка", киносценарии, массу рассказов, очерков и фельетонов. Они писали вместе даже деловые письма и вместе ходили по редакциям и издательствам.



Илья Ильф с другом,
журналистом Вс. Чекризовым, в Жургазе
Начало 30-х годов
Публикуется впервые

Соавторы шутливо сравнивали себя то с двумя пианистами, исполняющими одну пьесу на двух роялях, то с поющими дуэтом певцами. "Несмотря на такую согласованность действий, поступки авторов бывают иногда глубоко индивидуальными. Так, например, Илья Ильф женился в 1924, а Евгений Петров в 1929 году", — сказано в "Двойной автобиографии". Конечно, не только в этом заключается их "глубокая индивидуальность". Несмотря на "полное духовное слияние", каждый из них был яркой индивидуальностью — и как писатель, и как человек.

* * *



Поговорим об Ильфе.

Я не вправе назвать себя биографом Ильфа. Отца не стало, когда мне только-только исполнилось два года. Легенд, мифов и сказаний об Ильфе, которых постоянно требуют от меня журналисты, в доме у нас не водилось. Но я храню то, что есть, и постоянно ищу то, что может приблизить его к нам.

Как хорошо, что существуют мемуары его современников.

Редкий случай, когда о человеке не сказано *ни-че-го* дурного, — будто бы исполнилась просьба Ильфа: "Забудьте о плохом, помните обо мне только хорошее". Интересно, что и Валентин Катаев, и Юрий Олеша, занятые более всего собственными персонами, писали о нем тепло, даже трогательно.

Ильфа нет.

Что же все-таки осталось?

Остались его сочинения, записные книжки, письма.

Остались его мысли, чувства.

Остался свет угасшей звезды.

Каким он был?

Почему он был таким?

Как сказал бы Остап Бендер: "Ну что ж, давайте приступим. Господа присяжные заседатели, писатель Илья Ильф родился в 1897 году..."

Но лучше сказать так: у богуславского мещанина Арье Бениаминова Файнзильберга и его жены Миндли, проживавших в Одессе, в 1897 году родился третий сын, нареченный именем Иехиель-Лейб.

Ироническое примечание Ильфа: "Все равно про меня напишут: "Он родился в бедной еврейской семье".

Впрочем, счастливое детство можно опустить. В то время он еще не занимался литературой. Из "Двойной автобиографии" мы знаем, что шестилетний мальчик имел привычку лазить через забор на кладбище — рвать сирень. Из записей Евгения Петрова: "В детстве Ильфа дразнили: "Рыжий, красный, человек опасный".

Дальше идет "розоватое отрочество". На большой семейной фотографии — остриженный под нуль мальчик в блузе ремесленного училища. Лицо серьезное, широко открытые глаза доверчиво смотрят в объектив. Судя по аттестату, в 1913-м он успешно окончил полный курс учения в Одесской школе ремесленных учеников по слесарно-механическому отделению и при отличном поведении оказал отличные успехи. Ясно, что этим успехам не препятствовало чтение книг Жюль Верна, Майн-Рида и Марка Твена, а также выпусков "Этель Кинг — женщина-сыщик" и "Пещера Лейхтвейса".

Пропустим еще страницу. А вот и юность, начало жизни. Здесь уже можно остановиться. Ведь жил он не где-нибудь, а в Одессе... Читайте Бабеля, читайте Жаботинского, читайте Катаева, Славина и Паустовского, и вы поймете, что такое Одесса первой четверти прошлого века.

Семья Файнзильбергов живет на Старопортофранковской улице, напротив знаменитого Привоза, почти на границе не менее знаменитой "бабелевской" Молдаванки. Потом — на Малой Арнаутской, на Базарной, на Софиевской. Не слишком респектабельные места. Отец — скромный служащий Сибирского торгового банка, мать — в неустанных заботах о четырех сыновьях.

Двое старших — художники. Легенду о том, как отец-бухгалтер хотел пустить их по коммерческой стезе и как из этого ничего не вышло, я опускаю: она всем известна. Третий сынок (все звали его не Илья, а Иля, с ударением на первый слог) — молчаливый, застенчивый, но видно, что умный. Он еще учится в своей ремесленной школе, а старший брат, Александр, уже обзавелся "итальянским" псевдонимом "Сандро Фазини" и успешно сотрудничает в одесских газетах и журна-

лах. По его стопам идет Михаил. "У меня два брата художники, — рассказывал Ильф живописцу А.М. Нюренбергу в середине 1930-х. — В нашем доме часто и много говорили о живописи, о цвете, о колорите, о французском искусстве. Говорили о Пикассо, Матиссе". Значит, было о чем послушать и на что посмотреть.

Но старшим не до него: они с головой ушли в искусство. Презирали младших. Не устаивали разговора. "Я мало знал Илю юношей", — признавался Фазини уже после кончины Ильфа.

Юноша жил собственной жизнью. Учился жить.

Окончив училище в 1913 году, испробовал много профессий: "работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на авиационном заводе и на фабрике ручных гранат" ("Двойная автобиография"). Он сводит знакомство с молодыми одесскими поэтами. Время тяжелое — война, революция. Ни топлива, ни продовольствия. Летом 1919-го призван в армию ("Все на борьбу с Деникиным!"). Он является на сборный пункт, сверкая стеклами пенсне и держа под мышкой роман Анатоля Франса "Боги жаждут" (революционная романтика!). Его зачисляют в "стеклянный батальон" — собрание белобилетчиков и близоруких. Он не чувствует себя героем и не стремится им стать: "Я знал страх смерти, но молчал, боялся молча и не просил помощи. Я помню себя лежащим в пшенице. Солнце палило в затылок, голове нельзя было повернуть, чтобы не увидеть того, чего так боишься. Мне было очень страшно, я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить". В январе 1920-го Ильф демобилизован: "признан негодным вовсе по 36 статье".

"После этого был статистиком, редактором юмористического журнала "Синдетикон", в котором писал стихи под женским псевдонимом, бухгалтером и членом Президиума Одесского союза поэтов", — пишут соавторы в "Двойной автобиографии". Эти сведения не расцвечены, к сожалению, "показаниями" его современников. Однако в интервью, взятом в 1985 г. у известного харьковского художника Б.В. Косарева (1898-1994), мне удалось найти то, чего мы не знали. Вы скажете — мелкая подробность? Но для меня ценна каждая строчка каждого очевидца.

Вот что рассказывал Борис Косарев, художник-авангардист, в 1920-1921 годах рисовавший агитплакаты в Одесском бюро украинского отделения РОСТА: "В комнате, где работали художники, было ужасно холодно: буржуйки растапливали только для того, чтобы разогреть клеевую краску. Художник Сандро Фазини — родной брат Ильи Ильфа — от холода не мог держать кисть в щепотке и вставлял ее между указательным и средним пальцами. Пальцы у всех были распухшими от холода и голода. В РОСТА

часто заходил Илья, садился в углу, поджав под себя ногу, и читал, не отрываясь, какую-то толстенную книгу. Сандро сварливо кричал на него: "Ты чего пришел?" — "Дома холодно". — "А здесь тепло?". Но Илья продолжал упорно сидеть и читать. Что же он читал? Оказалось, Московское железнодорожное расписание с указанием всех дачных станций, стоянок, времени прибытия и отправления всех поездов и т. д. — огромный фолиант. Помните, у Пастернака сказано о железнодорожном расписании: "...оно грандиозней Святого Писанья"? Вот ведь совпадение!".

Ильффу 23 года. Он — совершенно сложившаяся личность.

Теперь о нем говорят воспоминания Валентина Катаева, Юрия Олеши, Льва Славина, Сергея Бондарина, Евгения Окса и других. О чем они?

С первых же минут разговора с Ильфом ощущалось его чувство собственного достоинства, невозмутимость. Его улыбка еле касалась углов рта. Кое-кому он казался англичанином. Может быть, даже лордом. К нему обращались на Вы, некоторым он разрешал звать себя по имени — Иля. Он сам устанавливал границу близости. Переступить ее не мог никто.

Поражали его суждения — оригинальные, без намека на банальность. Поражали начитанность, круг литературных пристрастий. Часто играли в игру "Что возьмем с собой на необитаемый остров?". С Диккенсом Ильф расстаться не хотел даже на необитаемом острове. Любил исторические романы Стивенсона и Конан Дойла. Молодые одесситы жадно листали иллюстрированные журналы, смакуя с одинаковым удовольствием и Бенуа, и Жироду, но Ильф требовал особого внимания к таким авторам, как Франсуа Вийон, Рабле, Стерн, Франс, Лесков. Увлекались поэзией Маяковского, Асеева, Пастернака.

Насквозь литературны ранние одесские письма Ильфа, пересыпанные именами Гомера, Пушкина, Банделло, художника Ропса, отсылками к Боккаччо и Горацию, а также скрытыми и явными цитатами из Асеева и Мандельштама. Непринужденно-вызывающе сообщает он приятельнице: "Я думаю о Вас в промежутках между кровосмешениями Катюля Мендеса, трагическими любовями Гамсуна и Ошибками и Тайнами Теодора Гофмана".

Ильф писал тогда белые стихи, которые называл "торгово-промышленной поэзией". В одной поэме была фраза: "Выньте лодочки рук из брюк". Другая поэма начиналась так: "На Вандименовой земле, / Что в самом низу географической карты, / Бидеино сердце познало любовь. / И вот души Биде стропила / Трещат под тяжестью любви... / Комнату своей жизни он оклеил мыслями о ней, / С солнца последние пятна очистил...". Его друг



приводит эти строки по памяти. Никто не видел их написанными или напечатанными.

"Стихи были странные, — высказался Олеша. — Рифм не было, не было размера. Стихотворение в прозе? Нет, это было более энергично и организовано. Я не помню его содержания, но помню, что оно состояло из мотивов города, и чувствовалось, что какие-то литературные настроения Запада, неизвестные нам, ему известны. <...> Уже в этих первых попытках проявилась особенность писательской манеры Ильфа форму-

лировать, особенность, которая впоследствии приобрела такой блеск".

Как равный входит Ильф в "Коллектив поэтов", где главенствуют Катаев, Олеша, Багрицкий. "Уже тогда дружба с Ильфом льстила самолюбию каждого из нас, — напишет Сергей Бондарин. — Необыкновенным был этот молодой человек — тихий, но язвительный, особенный в повадках, в манере одеваться, входить в комнату, вступать в разговор, особенный и вместе с тем очень простой... со своим, уже выработанным вкусом...".

Из воспоминаний Н. Гернет: "Худой, высокий Ильф обыкновенно садился на низкий подоконник, за спинами всех. Медленно, отчетливо произносил он странные, ни на какие другие не похожие стихи, которые нравились мне именно этой странностью формы и поэтических образов: "...Комнату моей жизни / Я оклеил мыслями о ней...". Или: "А мы, в costume Адама до грехопадения, / Прикрыв неприличие шевитовой эманацией...".

Существуют его строчки — без рифмы, без размера и почти без знаков препинания:

*Пусть не увижу неба
если скажу об том
чего не было
Во имя Бога и во имя пчел
Во имя желтых пчел,
во имя блеска
и во имя сияния*

"Мы полюбили его, — расскажет потом Катаев, — но никак не могли определить, кто же он такой: поэт, прозаик, памфлетист, сатирик? Тогда еще не существовало понятия эссеист. Во всяком случае, было ясно, что он принадлежит к левым, даже, может быть, к кубофутуристам. Нечто маяковское всегда витало над ним. В нем чувствовался острый критический ум, тонкий вкус, и втайне мы его побаивались, хотя свои язвительные суждения он высказывал чрезвычайно редко, в форме коротких замечаний "с места", всегда очень верных, оригинальных и зачастую убийственных. Ему был свойственен афористический стиль. Однажды, сдавшись на наши просьбы, он прочитал несколько своих опусов. Как мы и предполагали, это было нечто среднее между белыми стихами, ритмической прозой, пейзажной импрессионистической словесной живописью и небольшими философскими отступлениями. В общем, нечто весьма своеобразное, ни на что не похожее, но очень пластическое и впечатляющее, ничего общего не имеющее с упражнениями провинциальных декадентов".

Забавная подробность тех лет. Однажды в "Коллектив поэтов" явился мальчик лет 12-13-ти. Громко и уверенно начал что-то читать. Кончил. Все помолчали. Потом кто-то из старших спросил, как он относится к Пушкину. Смысл ответа был такой, что Пушкин кончился и нам не указ. И вдруг из темного угла, от окна, где сидел Ильф, раздался спокойный, ровный голос:

— Пошел вон.

Мальчиком этим оказался Семен Кирсанов. Теперь слово ему: "Я пришел в "Коллектив поэтов", ошарашил заумью и через некоторое время нашел соратников. <...> Ильф тогда писал странные, необычные стихи. И когда я позже узнал стихи сюрреалистов, я понял, что он предвосхитил их".

По утверждению Славина, никто из друзей Ильфа не сомневался, что он будет крупным писателем. "Понимание людей, безупречное чувство формы, пронизательность и глубина суждений говорили о его значительности как художника еще тогда, когда он не напечатал ни одной строки".

Завершая рассказ об одесском периоде, заложившем основы его таланта и характера, добавлю, что никто не мог состязаться с ним в остроумии. Как уверяет один из очевидцев, "сдавался сам Багрицкий с его ошеломительными сарказмами".

Что за человек был этот ранний Ильф?

На вопрос можно ответить двояко: замкнутый — и общительный, полный юмора — и грустный в самой своей веселости. Мягкий — и непреклонный, добрый — и беспощадный.

Ильф замечал многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. При нем нельзя было лгать, ерничать, легко осуждать людей и вести себя похамски. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же. Он мог сказать невеже: "Извинитесь. Скажите: Я больше не буду".

К высокопарной болтовне он питал отвращение. Банальности вызывали ядовитую насмешку. Пошлость он распознавал с первого взгляда, с первого слова. "Ни разу этот человек не сказал пошлости или общей мысли, — напишет Олеша. — Кое-чего он не договаривал, еще чего-то самого замечательного. И видя Ильфа, я думал, что гораздо важнее того, о чем человек может говорить, — это то, о чем человек молчит".

Таким он оставался всю свою недолгую жизнь.

Он умер, когда ему не было сорока.

В "Двойной автобиографии" сказано: "После подведения баланса выяснилось, что перевес оказался на литературной, а не бухгалтерской деятельности, и в 1923 году И. Ильф приехал в Москву, где и нашел свою, как видно окончательную, профессию — стал литератором, работал в газетах и юмористических журналах". Так оно и было. В начале января 1923 года Ильф покидает Одессу.

Перелистаем московские страницы. Он работает "литправщиком" в газете "Гудок". Рядом — Булгаков, Катаев, Олеша. Знакомство с Евгением Петровым. В 1927-м они берутся за "Двенадцать стульев". Дальше — роман "Золотой теленок", фельетоны, сценарии, водевили. Поездки в Европу, потом в Соединенные Штаты. Книга очерков "Одноэтажная Америка".

Воспоминаний много, выберу несколько.

Валентин Катаев: "В числе молодых, приехавших с юга в Москву за славой, оказался наш общий друг, человек во многих отношениях замечательный. Он был до кончиков ногтей продуктом западной, главным образом, французской культуры, ее новейшего искусства — живописи, скульптуры, поэзии. Каким-то образом ему уже был известен Аполлинер, о котором мы... еще не имели понятия. Во всем его облике было нечто неистребимо западное. Он одевался как все мы: во что бог послал. И тем не менее, он явно выделялся. Даже самая обыкновенная рыночная кепка приобрела на его голове парижский вид..."

Евгений Петров: "Я отчетливо вижу комнату, где делалась четвертая страница газеты "Гудок", так называемая четвертая полоса. Здесь в самом зловещем роде обрабатывались рабковские заметки. У окна стояли два

стола, соединенные вместе. Тут работали четыре сотрудника. Ильф сидел слева. Это был чрезвычайно насмешливый двадцатипятилетний человек в пенсне с маленькими голыми толстыми стеклами. У него было немного асимметричное, твердое лицо с румянцем на скулах. Он сидел, вытянув перед собой ноги в остроносых красных башмаках, и быстро писал. Окончив очередную заметку, он минуту думал, потом вписывал заголовок и довольно небрежно бросал листок заведующему отделом, который сидел напротив. Ильф делал смешные и совершенно неожиданные заголовки. Запомнился мне такой: "И осел ушами шевелит". Заметка кончалась довольно мрачно — "Под суд!".

В комнате четвертой полосы царил атмосфера остроумия. Острили непрерывно. Никто не мог избежать насмешек, даже Михаил Булгаков. "Ну, что вы все скопом напали на Мишу?.. Что вы хотите от него? — спрашивал Ильф. — Миша только-только, скрепя сердце, примирился с освобождением крестьян от крепостной зависимости, а вы хотите, чтобы он сразу стал бойцом социалистической революции!".

Лев Славин. "Мы с Ильфом работали когда-то в одной редакции, — вспоминал Лев Славин. — Редактором у нас был человек грубый и невежественный. Однажды после совещания, на котором редактор особенно блеснул этими своими качествами, Ильф сказал мне:

— Знаете, что он делает, когда остается один в кабинете? Он спускает с потолка трапецию, цепляется за нее хвостом и долго качается...".

Константин Паустовский: "Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались чрезмерно резкими... Однажды он вызвал замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом помолчат и опять спускают воду с тем же ревом".

Самые ценные воспоминания об Ильфе (я считаю их драгоценными) принадлежат, конечно, его близкому другу и соавтору — Евгению Петрову. Они проработали рука об руку почти десять лет.

"Как случилось, что мы с Ильфом стали писать вдвоем? Назвать это случайностью было бы слишком просто. Ильфа нет, и я никогда не узнаю, что думал он, когда мы начинали работать вместе. Я же испытывал по отношению к нему чувство огромного уважения, а иногда даже восхищения. Я был моложе его на пять лет, и хотя он был очень застенчив, писал мало и никогда не показывал написанного, я готов был признать его своим мэт-

ром. Его литературный вкус казался мне в то время безукоризненным, а смелость его мнений приводила меня в восторг".

Из записей Евг. Петрова об Ильфе:

Человек скрытный, застенчивый, на первый взгляд — заносчивый.

Ильф очень сердился, когда какая-то читательница выразила уверенность, что он зарабатывает 30 тысяч в месяц. Он никак не мог втолковать ей, что зарабатывает сравнительно немного и живет скромно.

Как Ильф читал — быстро перелистывал страницы, каким-то чутьем гадая, что можно пропустить. Любил старые комплекты.

Увлечение этого глубоко мирного человека военно-морской литературой.
— Нет, нет, мы никогда не умрем на своих постелях.

Ильф обожал новые знакомства и даже напрашивался в гости, но поддерживал знакомство только тогда, когда убеждался, что человек интересный.

Новых знакомых, которые ему не нравились, он высмеивал.

Ильф любил входить в комнату с каким-нибудь торжественным заявлением:

— Женя, я совершил подлый поступок.

Старушка, которой он соврал, что он брат Ильфа.

Петрову запомнилось поразительное признание соавтора: "Меня всегда преследовала мысль, что я делаю что-то не то, что я самозванец. В глубине души у меня всегда гнездилась боязнь, что мне вдруг скажут: "Послушайте, какой вы к черту писатель: занимались бы каким-нибудь другим делом!".

Совсем недавно я нашла удивительную запись в дневниках Евгения Шварца "Позвонки минувших дней". Ленинградский драматург впервые увидел Ильфа на Первом съезде писателей в 1934 году: "Ильф, большой, толстогубый, в очках, был одним из немногих, объясняющих, нет, дающих Союзу (писателей. — А. И.) право на внимание, существование и прочее.

Это был писатель, существо особой породы. В нем угадывался цельный характер, внушающий уважение". И еще: "Уважали немногих. Ильфа и Петрова, Пастернака, отчасти Шкловского..." С каким чувством благодарности я прочла эти строки!

Виктор Ардов: "У Ильфа был юмор, который мы, литераторы, называем органическим. Мне всегда казалось, что Ильф придумывает смешное не для книг, а для самого себя, и только часть того, что он создавал, попадала в книги.

Мне очень хочется, чтобы вы поняли, какую прелесть придавал юмор Ильфа всему, что он говорил в обыденной жизни. Пищу для этого юмора иногда дают несоответствия, которые юморист находит в жизни. Например, знаменитая фраза "Командовать парадом буду я" стала чем-то вроде поговорки, а Ильф выхватил ее из серьезного контекста официальных документов и долгое время веселился, повторяя эту фразу. Затем декларация Бендера "Командовать парадом буду я" попала в роман "Золотой теленок". Смеяться стали читатели. А из официальных бумаг пришлось исключить эти четыре слова, ибо они сделались смешными буквально для всех. Остроумие, которым блистает в обоих романах Остап Бендер, — ведь это же остроумие самих Ильфа и Петрова".

Ардову запомнилась одна из многих острот Ильфа. В газетах тогда шла борьба с подхалимством, и Ильф заметил:

— Подхалимов сейчас отлучают от зада, как младенцев от груди.

А когда, закончив обсуждение материала, сотрудники журнала "Чудак" острили для собственного удовольствия, Ильф неизменно задавал вопрос: "Когда кончится этот пир остроумия?".

Из записей Евг. Петрова:

Ильф обожал детей. Постоянно повторял фразу, которую кричали дети при переезде в новый дом:

— Писатели приехали!

А потом, когда Ильфа везли на кладбище, дети орали:

— Писателя везут!

Разговор о том, что хорошо было бы погибнуть вместе во время какой-нибудь катастрофы. По крайней мере, оставшемуся в живых не пришлось бы страдать.

Болезнь Ильфа. Все убеждали Ильфа, что он здоров. И я убеждал. А он сердился. Он ненавидел фразу "Вы сегодня прекрасно выглядите". Он понимал и чувствовал, что все кончено.

— Бедный Женя! Я помешал Вам слушать симфонию.

Умирающий, он всех жалел.

Он простался с миром мужественно и просто, как хороший и добрый человек, который за всю свою жизнь никому не причинил [зла].

Рассказывали, что за несколько дней до смерти, сидя в ресторане, Ильф поднял бокал и грустно сострил: "Шампанское марки "Ich sterbe". (Аллюзия: больной туберкулезом Чехов сказал доктору: "Ich sterbe", — выпил бокал шампанского и умер.)

* * *

Нелепо предполагать, что Ильф постоянно был полон творческой бодрости и горел "желанием немедленно подарить человечеству новое художественное произведение, как говорится, широкое полотно". Он любил гулять, наблюдать, ходить в кино и в гости, лежать на диване, читать "Историю морских сражений", а также беседовать по телефону.

"Как Ильф увивался от работы. Я страдал, как Отелло", — вспоминал Евгений Петров. А соавтор жаловался Катаеву: "Валю! Ваш брат меня мучит. Он требует, чтобы я работал. А я не хочу работать. Понимаете? Я не хочу работать. Я хочу гулять, а не работать".

Но именно в результате "гуляний" рождались точнейшие и тончайшие наблюдения над людьми и явлениями:

В окнах пейзажи. Написанные, они вызывали бы скуку.

Толстый бильярдист приехал в Гагры, провел весь день в бильярдной, стуча шарами, а к вечеру уехал, заявив:

— Я здесь не могу жить. Горы меня душат.

По звукам казалось, что веселятся эскадронные лошади. На самом деле это затейник вовлекал отдыхающих в "массовку".

Мы ехали в поезде по Крыму. Когда моя соседка увидела зеленую траву,

она так обрадовалась, как будто она была коровой, всю зиму проведенной в мрачном уединении хлева.

Сквозь лужи Большой Ордынки, поднимая громадный бурн, ехал на велосипеде человек в тулупе. Все дворники весело кричали ему вслед и махали метлами. Это был праздник весны.

Валентин Катаев вспоминал, как гуляли они с Ильфом как-то весной по Арбату и, проходя мимо зоологического магазина, заметили объявление, написанное химическим карандашом на листке из школьной тетрадки и наклеенное на стекло входной двери.

На листке значилось:

ПРИЛЕТЕЛИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ СКВОРЦЫ.

Ильф прочел вслух это объявление и заметил:

— Скажите-ка, не успели прилететь и уже поступили в продажу..

Ильф был человеком резкой и ясной мысли. Его характеристики беспощадны.

Если человек говорит: "Мне нужно освежить в памяти сюжет", это значит, что он ничего не читал.

От перемены мест сказуемых Лидин не меняется.

Лицо, не истощенное умственными упражнениями.

Вы шкура! Этим я хотел определить место, которое вы занимаете среди полутора миллиардов людей на земле.

Мазепа меняет фамилию на Сергей Грядущий. Глуп ты, Грядущий, вот что я тебе скажу.

К себе Ильф относился иронически:

Кто этот толстенький господинчик?

Мне обещали, что я буду летать, но я все время ездил в трамвае.

Писем я не получаю, телеграмм я не получаю, в гости ко мне не приезжают. Последний человек на земле.

"Я умру на пороге счастья, как раз за день до того, когда будут раздавать конфеты".

Нет, я не лучше других и не хуже.

Кому вы это говорите? Мне, прожившему большую неинтересную жизнь?

Илья Арнольдович был застенчивым, молчаливым, шутил редко, но зло, и, как многие писатели, смешившие миллионы людей, — от Гоголя до Зощенко, — был скорее печальным" (Илья Эренбург).

Печальные мысли Ильф поверял дневникам. От самого себя скрывать нечего. В отличие от многих своих современников, Ильф чувствовал себя "чужим на празднике жизни".

"Это было в то странное время..." — писал он. Середина 1930-х. "Эпоха благоденствия" быстро превращалась в эпоху Большого террора. Присмотритесь к юмористическим (на первый взгляд) записям Ильфа 1936/37 года, и вы поймете. Была, была причина для грусти на фоне казенного оптимизма. "Умирать все равно будем под музыку Дунаевского и слова Лебедева-Кумача", — напишет он в записной книжке, а соавтору скажет: "Летит кирпич".

Ильф был человеком уязвимым и впечатлительным. Защитой был юмор, но он не всегда защищал от преступного равнодушия. Просто физически ощущаешь возмущение, нет, бешенство Ильфа, читая: "Шестилетняя девочка 22 дня блуждала по лесу, ела веточки и цветы. После первых дней ее перестали искать, успокоились. Мир не видал таких сволочей. Что значит, не нашли? Умерла? Но тело найти надо? Почему не привели розыскную собаку? Она нашла бы за несколько часов".

Это я хотел бы быть таким высокомерным, веселым. Он такой, каким я бы хотел быть. Счастливецem, идущим по самому краю планеты, непрерывно лопочущим. Это я таким бы хотел быть, вздорным болтуном, гонящимся за счастьем, которого наша солнечная система предложить не может.

Осадок. Всегда осадок. Приезжаешь к морю. Разочарование — оно могло бы быть больше. Они могли бы написать лучше. Откуда они знают, что могли.

Вот и еще год прошел в глупых раздорах с редакцией, а счастья все нет.

Я тоже хочу сидеть на мокрых садовых скамейках и вырезать перочинным ножом сердца, пробитые аэропланнскими стрелами. На скамейках, где грустные девушки дожидаются счастья.

Ему хочется счастья, которого "наша солнечная система предложить не может". Что для него счастье? Успех? Деньги? Известность? Работа в газете "Правда"?

Это было бы слишком просто.

Того, чего ему хочется, *наша* солнечная система предложить не может. Но *другой* солнечной системы нет.

"Ильф знал, что он умирает, — с горечью вспоминал его друг и соавтор. — Потому так грустны его последние записки. Он был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ.

— Вы знаете, Женя, — говорил он мне, — я принадлежу к тем людям, которые входят в двери последними".

Всего несколько последних ильфовских записей. От них сжимается сердце.

Я хотел бы, чтобы моя жизнь была спокойней, но, кажется, уже не выйдет. Лето кончилось, о чем разговаривать...

Кто измерит глубину моего отчаяния.

На площадке играют в теннис, из каменного винного сарая доносится джаз, там репетируют, небо облачно, и так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде.

Ветер, ветер, куда деваться!

Тяжело и нудно среди непуганых идиотов.

Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло.

По его записям видно, как мало он думал о себе, какой он был скромный, нетщеславный и какой необыкновенный.

Только *такой* человек мог *так* писать домой красавице-жене и обожаемой малютке из далеких Северо-Американских Штатов: "Дорогие мои дети, я так скучаю без вас, что даже боюсь об этом писать, легко могу перейти с прозы на стихи. Нежикки мои, каждый день смотрю на ваши фотографии и что-то думаю про вас хорошее. <...> Сижу себе, думаю, что думаю — не знаю, что-то сердце болит, хочется домой. Милые мои дети, я о вас за это время много думал и надумал, что я без вас жить не могу. Обнимите меня крепко и ждите, я скоро приеду. Грустно мне ужасно. Чего я езжу уже так долго, не могу остановиться? Целую вас, мои дети. Любите меня тоже, пожалуйста".

Получилось не так весело, как хотелось бы?

Сменим тему.

Ничто человеческое не было чуждо Ильфу. Не станем делать его чугунным памятником непогрешимости, борцом с безнравственностью и т. д. К примеру, его ничуть не шокировала "ненормативная" (как нынче принято выражаться) лексика, с которой он познакомился еще в одесской юности, и в армии, и в других местах. Представьте, он даже употреблял эти слова и эти выражения!

Виктор Ардов: "Ильф говорил: "Я открыл такую закономерность. Если журналисты стоят в редакционном коридоре, курят и беседуют на приличную тему, никаких женщин рядом не бывает. Но стоит кому-нибудь сказать хоть одно непристойное слово, мимо непременно пробегает какая-нибудь машинисточка или секретарша... Если выразиться покрепче, тут уже появится женщина посolidней... А когда я, — говорил Ильф, — в коридоре газеты "Труд" разразился длиннейшим матерным монологом, открылась дверь и передо мной появилась руководительница международного рабочего движения Клара Цеткин".

На бегах. Среди глубоко интеллигентных лиц. И вдруг очень громко: Е. т. м.

Это уже говно, но еще не то, что нам нужно.

*Конферансье в пивной. "А сейчас, граждане, мы предложим вам небольшую загадку. Какое слово состоит из трех букв, в том числе "Х" и "У"?"
Возбужденная пивом аудитория радостно выкрикивает знакомое ей слово.
"Ошибаетесь, — с лучезарной улыбкой говорит конферансье, — вовсе не ..., а "ухо". Рев восторга.*

"Любовь к этим словам неистребима, — ядовито резюмировал Ильф. — Глубоко, на дюйм врезаны они в кору деревьев".

* * *

Все-таки разрешите закончить мажорной нотой — несколькими строчками Михаила Зощенко, написанными в 1938 году, в первую годовщину со дня смерти моего отца:

"Ильф был очень умный и тонкий человек.

Пожалуй, основное свойство его ума — это едкость, язвительность, в чем было иной раз немало горечи и сарказма".

Вот, собственно, и всё.

Можно написать больше.

Гораздо больше.

Но не нужно.

Вопрос все тот же.

Чем интересен Ильф?

Что в нем такого необыкновенного?

Сочинял не один, а вдвоем?

Но такие случаи литературе известны.

Писал весело, а сам был грустным?

А Гоголь?.. А Зощенко?..

Достойная личность...

Но разве мало достойных?

Порядочный.

Но мало ли порядочных?

Талантливый.

Но мало, что ли, талантливых?

Хороший вкус?

Нашли чем удивить!

Сатирик и юморист?

С каждым может случиться.

Он рано умер.
И это не редкость.
Был женат один-единственный раз, обожал свою жену.
И такое бывает.
Сохранилась их переписка — настоящий любовный роман!
Но сейчас любовных романов — хоть отбавляй!
Чем же этот далекий образ привлекает нас до сих пор?
Кто он такой?
Принц Юго-Запада?
Атос среди гвардейцев кардинала?
Нравственный камертон?
Единица благородства?
Единица таланта?
Единица юмора?
Никак не доформулируешь.
В нем была какая-то тайна, которую он унес с собой.
Он не просто писатель, автор рассказов, романов и фельетонов.
Он — личность.
Ему нельзя подражать.
(Можно, но не нужно.)
Имитации не требуются.
Таких, как он, больше не делают.
Это товар штучный.
"Штука" по-польски — "искусство".
Вот и думайте сами.

* * *

Звезда погасла, но живой свет все льется.
Он пронесится сквозь холод сфер.
Пытаюсь уловить его
И вижу

*Блеск и сиянье —
Нету
ничего больше, ничего иного,
только это,
только блеск
и только сиянье*